

Интеллигенция в проекте современности

Несостоявшееся сословие или несостоявшийся средний класс?

Попробую дать определение предмету моих рассуждений. *Интеллигенция – это несостоявшееся духовное сословие России, равно как и несостоявшаяся часть среднего класса её современного общества.* В обоих случаях приходится говорить в сослагательной форме, но большей конкретности цивилизационный статус России в Новое и Новейшее время не позволяет. Предвижу возражение, что интеллигенция, равно как и российская цивилизация, соединяющая особенности Запада и Востока, вполне состоялась. На это можно ответить, что хотя в виде проблематизмов и парадоксов наш предмет и вполне устойчив, он требует разбора (хотя бы и предварительного) в сетке более определённых макро-социальных определений. Она же (сетка) фокусирует наш взгляд на устойчивых социальных образованиях (сословия, классы, партии, нации и т. д.) и пропускает переходные, маргинализованные, фоновые состояния. Поэтому определять интеллигенцию в реалиях Нового времени приходится от противного или с добавлением приставки «квази-», в качестве потенции, материала для некоторых состояний интеллигенция соответствует ускоренной модернизации XIX–XX вв. и положению России как окраины европейской цивилизации или отдельной окраинной цивилизации. Состояться в качестве духовного сословия она не может хотя бы потому, что в XIX–XX вв. время сословий давно миновало. А дать начало средним и средне-высшим стратам современного общества она также не в состоянии, поскольку современного стратифицированного общества в России XX в. не возникло. Возник гибрид индустриализма с досовременными социальными формами. Предлагаемое определение позволяет свести конкурирующие определения интеллигенто-ведения: а) интеллигенция – люди умственного труда и б) интеллигенция – это сходство людей по общественно-культурным интересам и признакам. Принять первое не даёт отсутствие в России современного стратифицированного общества западного типа. Второе же для классической социологической мысли слишком условно и аморфно. Поэтому логичнее исходить из равноудалённости этих значений в концепте «интеллигенция», тем более, что это воспроизводит раздвоенность существующих трактовок интеллигенции.

Дополню рассуждения исторической схемой. Приму, пожалуй, самую, привычную хронологию этой истории. Интеллигенция рождена петровскими реформами, она занята распространением западной культуры и её адаптацией к нашим условиям (в адаптацию входит и значительная критика приобретений, и вполне оригинальные достижения науки, литературы, искусства. Возвращаясь к структуралистским оппозициям, можно сказать, что в начальной точке нашего рассмотрения (правление Петра) политико-идеологическая структура русского общества является не триадической, как на Западе, а диадической, как в деспотиях Востока. Слабо оформленные предсословные группы населения поголовно закрепощены государством (В. О. Ключевский) с разделением на тяглых (исполняют налоговую и натуральную повинности) и служилых. Что касается духовенства, то низшее несёт тягло, архиереи служат; затем они сводятся в служилую подгруппу под управлением статского обер-прокурора Синода. Но вертикальное диадическое отношение управляющего верха (тончайший «политический класс» из царя и его окружения) и управляемого низа чревато псевдогомологией, т. е. триадой. Во-первых, начинают формироваться сословия, напоминающие западноевропейский феодализм. Этот процесс относят к правлению Екатерины II (Леонтович, 1980) или к более позднему времени (Миронов, 2000). Что недооценивают историки, так это разворачивание на фоне этой крайне запоздалой имитации институциональной трёхсоловности другой, просвещенческой триады. Её обычно описывают под рубрикой истории общественной мысли, полагая как бы эпифеноменом более серьёзных социально-политических движений. Между тем, она является ведущей в разворачивающемся проекте современности. Двигателем параллельного развития является та внутренняя прослойка власти, которая просвещает страну по обязанности или призванию (отличить одно от другого бывает трудно). До реформы 1861 г. монополия просвещения была у государства, поэтому можно говорить о государственной интеллигенции, или о государстве как коллективном интеллигенте.

Разумеется, идеи возникают в индивидуальных головах. Звучит и критика правительственного курса; более существенно, чем тактические расхождения внутри просветительской элиты, наличие в просвещении казённо-бюрократической и литературной линий. Само по себе такое разделение просто констатирует существование в письменном языке функций технической записи и личностного самовыражения. Однако бюрократы и литераторы, вышедшие из одного петровского ботика, доводят свои различия до общественно-политического антагонизма.

Комедия и драма просвещения

До 1861 г. их расхождения, скорее, стилистические. Четырнадцатиклассная петровская система крепко связывает знание и карьеру. Образование повсеместно понимается как то, что открывает путь к более высокому чину (на это жалуются и прогрессивные бюрократы, и государственно мыслящие литераторы). В пореформенные десятилетия параллельная просвещенческая иерархия начинает конкурировать с табелью о рангах. В дореволюционной литературе, как и в послереволюционной, сосуществуют два основных значения

слова интеллигенция. Но только вместо людей умственного труда — образованная часть общества, а высокие моральные качества наполнены оппозиционным содержанием. «Образованная часть общества» в дореволюционной России — социально- и культурно-типологический признак, профессиональный критерий «утоплен» в нём, он подразумевается (образованные люди физическим трудом, естественно, не занимаются, разве что по идее или от крайней нужды). Это и не столько общественный слой, сколько вектор прогресса и цивилизации.

Указанное значение слова начинает вызревать ещё до появления термина «интеллигенция». Его питает политика государственного просвещения. Начиная с петровских реформ, образование выполняет роль социального демиурга. Оно формирует сословно-чиновный порядок. Школьный аттестат выводит из «подлого состояния», университетский диплом даёт звание поручика и дворянскую шпагу. В дальнейшем сословное и классовое разделение в России вообще начинает перекрываться разделением на образованных и необразованных (народ). Просвещенческую политику власти с удовлетворением отмечал Белинский: на Западе классы создаются экономикой, у нас — литературой. В этом отношении Белинский раньше всякого постмодерна и дискурс-анализа выявляет сконструированность верхних слоёв российского социума. Но для социологической и культурологической классики — это невнятица и псевдоморфоз. Диалектика просвещения по-русски протекает в зыбкости социальных превращений. Формальные ролевые позиции общества в ретуши статусной образованности. Иерархия просвещения не просто нюансирует сословно-чиновный строй, но и создаёт собственный порядок. В пореформенные десятилетия критерий образованности распространяется вглубь российского общества, становится общепринятой оценкой. Комическую сторону новой социализации рисовал ранний А. П. Чехов.

Человек старой закваски знает, что «философствовать может только образованный человек, который курс кончил» (2, 1960, с. 275). Самозванца, который без гимназического аттестата «верите ли, газету, каналья, выписывал!», он неоднократно (за разговоры «про Бисмарка, да про разных там Гладстонов», «за русско-турецкую войну») «по зубам бил» (там же). Но остановить неподобающее времяпровождение не удаётся. Герои чеховских интермедий в постоянных выяснениях, кто образованный, а кто необразованный, имеет ли право рассуждать или нет, какая образованность бывает и что она даёт, в забавных самоаттестациях. «Я человек образованного класса», — примазывается к высшему сословию кондуктор вагона для чистой публики, (5, с. 308). «Вы жизни не знаете, вам литературу читать надо», — поучает девицу влюблённый телеграфист. Просвещенческая иерархия распространяется и за пределы человеческого мира. Например на животных. (Рассказ «Каштанка» первоначально назывался «В учёном обществе»; он о том, что и животные переходят из низшего в образованное сословие, но что удержаться среди учёных цирковых собраний не всякая дворянка сумеет). И не только животных. Даже сапожник знает, что лучший способ задобрить нечистую силу — это похвалить её за образованность («Сапожник и нечистая сила»). Звание интеллигента не для этих персонажей низового просвещения. Оно для них только мечтание, как первые классы табели о рангах для коллежских регистраторов и губернских сек-

ретарей. За ранги прогрессивности, просвещённости, образованности в пореформенной России идёт борьба и конкуренция, как и за те, которые записаны в служебных формулярах. Интеллигенция — зона высокой статусной принадлежности. В пореформенной литературе выражение «наша интеллигенция» означает «сливки общества». Правда, зачастую с ироническим оттенком. Объясняется это, на мой взгляд, большим числом претендентов, самозванцев на звание интеллигента и неясностью его социальной референции.

Для людей, подходивших к своим занятиям с критериями профессионализма, новая оценочность слишком поверхностна. А моральные качества личности вообще не могут быть уравнены с образованностью и прогрессивностью. После патетики и юмористики просвещения идут более зрелые прозрения, что «не в образовании загвоздка» (5, с. 64), наблюдения за теми, кто может быть причислен к просвещенческой элите: «По духу и разуму принадлежал он к числу натур, которыми так богата наша интеллигенция: сердечный и добродушный, воспитанный, не чуждый наук, искусств, веры, самых рыцарских понятий о чести, но не глубокий и ленивый» (4, с. 404—405). (Это о провинциальном поручике-помещике).

Однако интеллектуальный профессионализм в пореформенной России — это, скорее, атрибут чиновника и дельца. Чехов выслушивал комплименты мастерству и упрёки в безыдейности. Литература — рупор «направлений». Человек умственных занятий поставлен перед дилеммой: или служить прогрессу (идее, народу) или собственно служить.

Будучи побочным эффектом государственной политики вертикальной мобильности и подготовки кадров, параллельное просвещение становится автономным, когда создаёт собственный и альтернативный проект просвещения, исходящий от неправительственных и оппозиционных мыслителей. Но превращение «государственного, служилого интеллигента» в интеллигента без эпитетов и кавычек дело не только психологии, но инфраструктуры мысли и её социальных условий. Интеллектуальная деятельность вообще требует независимости. Однако кабинет-секретарь Г. Р. Державин, иногда бурно выражавший своё мнение и даже хватавший императрицу за руки, или советник президента Иларионов, не выходят за пределы особых точек зрения и ведомственных разногласий. Принципиальные расхождения гаснут или гасятся, пока у разномыслия нет места, где оно может подробно развиваться. Когда такая ниша находится, возникает российская интеллигенция. 1860—1920-е годы «история взлета, раскола и подготовки самоуничтожения интеллигенции» (Левада, 1989, с. 31). Проект современности окончательно раскалывается на два подпроекта.

Сбывшееся «как бы»

После реформы 1861 г. вполне развёртывается вертикальная ось, на которой интеллигенция занимает срединное положение. Между 1861 и 1917 годами общественная конфигурация в России вразрез с официальным сословным порядком и в дополнение к имущественному разделению выглядит так: власть-интеллигенция-народ. Эта схема имеет хождение, потому что понятно, доходчиво объясняет расстановку социальных сил в стране и даёт значи-

тельной части населения ориентиры для самоопределения. Интеллигенция доказывает свою реальность не столько действием, сколько непрерывным потоком книг, брошюр, журналов, газет, воззваний. Проекты преобразования России, картины будущего, критика настоящего подогревают страну и держат её в напряжении; газетная полемика заменяет парламентские прения, борьба журналов — противоборство партий, романы читаются как социологические исследования и отчёты о состоянии страны. Это положение не уникально для России. Например, жизнь Франции перед революцией 1789—94 годов, наполненная памфлетами, брошюрами, трактатами, обращениями к народу, журнальными скандалами, с томами Энциклопедии в качестве общественных событий, с некоронованным властителем дум и защитником обиженных Вольтером столь же плохо укладывалась в официальный сословный порядок, как и в России 1861—1917 годов. Как, впрочем, и в предреволюционной Англии XVII в. с тучей сектантских листовок и памфлетов, и в реформационной Германии веком ранее с печатной Библией и антипапскими прокламациями. В каждом случае вокруг печатного станка мы находим людей, похожих на русских интеллигентов. Иногда они берутся за устройство конспиративных групп и восстаний. Но преимущественно они заняты более мирным делом — критикуют общественные пороки и рассказывают о совершенной жизни, которая могла бы установиться после устранения этих пороков. Изобретение Гуттенберга создаёт переизбыток критических и эсхатологических идей, к исполнению которых, как правило, интеллигенция не имеет склонности и неспособна. Её историческое назначение оказывается в том, чтобы создать указанную критическую массу, а также навыки для проживания воображаемых ситуаций в качестве осуществимых и реальных, использовать механизм художественной условности для эсхатологизации массового сознания.

Объяснялось это двойственностью интеллигентской задачи и места в переходном обществе. В пореформенной России интеллигенция достигла жреческого авторитета и видоизменила расстановку социальных сил. Её печатные рупоры создали общественное мнение; журналы становятся, по выражению Н. К. Михайловского, литературно-судебными инстанциями¹. Герои интеллигенции заняли положение некоронованных правителей страны. Ясная Поляна — российская Мекка начала века. На дореволюционной карикатуре «Два царя в России» маленький император копошится у ног громадного Льва Толстого. Это кульминация формулы «незначительный правитель во времена великого писателя», имеющей хождения до конца советского периода. Хотя писатели сочиняют романы, а не управляют страной, аллюзия литературократии затушёвывает различие между духовной и государственной властью — и так для России не безусловное. У правителя, лишившегося харизмы, отнимается значительная часть административного авторитета (а затем и леги-

¹ «Это был как бы председатель суда общественного мнения по множеству дел, часто очень мелких и вполне личного характера, но иногда и крупных и, во всяком случае, захватывавших в своей совокупности всю грамотную Россию,» — пишет о редакторе журнала «Искра» В. С. Курочкине Н. К. Михайловский (1995, с. 244). Последний, ветеран дореволюционной журналистики, обобщил особое положение пореформенной литературы в формуле «мысль, слово, дело». То, что для России XX века дело начиналось со слова, хорошо понял его молодой коллега, взявший для своей газеты название курочкинского журнала.

тимных прерогатив); писателю же, наделённому ею, приходится не только духовно учительствовать, но и насаждать образование, восстанавливать справедливость, разбирать гражданские споры, выступать с законодательными инициативами и даже выслушивать предложения на высшую государственную должность, как Короленко в 1917 г.

Здесь я должен выдвинуть следующий тезис: интеллигенция является скриптосообществом, т. е. исторически, социально, культурно и психологически вырастает из субстрата письменной культуры. Многие признаки литературной деятельности (в широком значении слова) входят в её ментальный склад и определяют общественные функции. В частности, и представить интеллигентское братство можно только в пространстве художественного воображения, в качестве людей объединённых смысловыми и персонажными связями, с утрированно-условными признаками литературных героев. Другие социальные группы, хотя и подвергаются художественной типизации, но всё-таки существуют вполне реально в качестве рабочего, крестьянина, бизнесмена и т. д. Если же мы извлечём интеллигента из кокона литературно-исторических ассоциаций, то превратим его в студента, служащего, врача, учителя, в участника какого-нибудь унылого мероприятия по чтению газет или распитию чая.

Свои жреческие претензии и амбивалентную многозначительность интеллигенция удерживает, пока её параллельный проект просвещения сохраняет вид плана реальных преобразований и пока имеется инфраструктура для его трансляции. Виток истории после 1917 г. упрощает опасно удвоившуюся и фантомизированную структуру российского общества. Можно говорить о возврате к диадической конфигурации петровского правления. Разбухшая литературно-полемическая прослойка берется под государственный контроль и частично ликвидируется. Небольшая часть интеллигенции перебирается во власть, но большинство её обречено на растворение в народе, т. е. в управляемой массе.

Интеллигенция по-советски — это люди умственного труда, одно из трёх советских сословий наряду с рабочим классом и колхозным крестьянством. Но термин не был юридически закреплён. В графе «социальное положение» писали не «интеллигент», а «служащий». Вполне резонно и по существу. Канцелярские чиновники и технические специалисты служили государству. Различия между профессиями нефизического труда отступали перед общностью их государственно-политического статуса. Второе советское значение интеллигенции морально-психологическое и обыденное. Эпитет «интеллигентный» — один из самых хвалебных в современном русском языке. Приписываемые интеллигенту качества не вытекают прямо из занятий, которыми ему надлежало заниматься по должности. В стереотипе интеллигентности ностальгия по дореволюционным временам смешивается с идеальными искажениями советской эпохи. Обыденное сознание включало в интеллигентский набор хорошие манеры как у представителя высшего света, благородство как у дворянина, духовность как у священнослужителя, образованность и компетентность как у специалиста и ещё много качеств, лишившихся после революции своих традиционных носителей. А образ чудаковатого, оторванного от жизни, но честного, доброго и самоотверженного человека из мира знаний, настойчиво тиражировался книгами и кинофильмами. Он символизировал

гибкость партии в использовании достижений культуры и пределы её либерализма к идеологической неустойчивости. Такие обаятельные воплощения этого образа как профессор Полежаев из «Депутата Балтики» в исполнении Н. К. Черкасова, конечно, оставались в массовом сознании.

В раздвоенности советских официозных трактовок как бы содержится историческое резюме предыдущей эпохи: интеллигенция готовилась к роли светского жречества безрелигиозного общества, но была взята только в «спецы». Однако положение высокооплачиваемого специалиста умственного труда так и осталось для подавляющего большинства людей с дипломом только мечтой, в лучшем случае, эпизодом НЭПа или прожектом позднего сталинизма. В «самом радикальном проекте современности» идеологическая функция оказалась намертво соединённой с высшими позициями в коммунистической власти, а подавляющая масса специалистов вымытой из особого слоя в советскую службу.

Однако перед нами не простое повторение петровского начала. Исторический запас предыдущей эпохи сохраняется в виде русской литературы и навыков олитературивания жизни. Разных «как бы» групп и в СССР немало. Официальная общественная структура бедна. Плоский ландшафт советской социальности украшается монументом трёх сословий: рабочий класс, колхозное крестьянство, народная интеллигенция. В тени его пробивалась жизнь, реальности которой плохо отделялись от вымысла. Даже и сейчас самые яркие плоды той жизни (ударники, вредители, шпионы, мафия, номенклатура, олигархия) мы видим сквозь призму мифологических гипербола.

Эта ментальная подоснова общества снова востребована на перестроечном витке социополитического цикла. Конфигурация общества между 1985 и 1991 годами быстро уподобляется предреволюционному десятилетию. Вместе с лавиной критики, прожектов, лавиной книг, журнальным бумом снова между властным верхом и управляемым низом разрастается литературно-полемическая прослойка с просветительским курсом западной демократии и проектом капиталистического будущего.

Канон интеллигентских вопросов

Интеллигенция существует как коллективная политико-культурная позиция, в которой, претендующая на независимость, вольнодумие, рефлексию мысль определяет себя в новой и новейшей России. Размышления мыслительной субстанции нашего общества о себе вошли как подвопросник в перечень «вечных» и «проклятых» российских вопросов. Их можно брать как гипотезы для научной разработки, но степень их сциентизации весьма относительна: они слишком непосредственно выходят на условия *sine qua non* для существования указанной субстанции. Вопросы раздаются, следовательно интеллигенция существует. Если они смолкнут, то и она исчезнет. Пока среда их и, следовательно, её, воспроизводства сохраняется. Причём, к этой среде следует отнести и фигуры речи, слитые с формулируемым содержанием если и не однозначно, то весьма тесно.

Перечень вопросов можно без труда составить по единственному сборнику дискуссий об интеллигенции. Не имеет особого значения, в каком году

дискуссия происходила — в 1909-м, 1924-м, 1974-м, 1989-м, 1999-м или 2005-м. Слова и темы будут повторяться почти дословно. Чем дольше вопросы звучат, тем меньше в них проблемности и эвристики, а больше ритуала и катехизации особого рода — без ответов, но с хорошо разработанным вопросником.

Складывание канона вечных вопросов продолжалось недолго, не дольше шести-семи десятилетий. Ещё Фонвизин и Карамзин предпочитали утвердительную пунктуацию. Однако с николаевского правления количество вопросительных знаков в русской интеллектуальной прозе начинает быстро нарастать. Почин положил Чаадаев с его сомнением, есть ли у России история в первом философическом письме 1829 г. Краеугольная дилемма «Европа или Азия? Восток или Запад?» была совместно заложена славянофилами и западниками на рубеже 1830-х и 40-х годов. Не следует забывать «Русь, куда ж несёшься ты, дай ответ? Не даёт ответа!» (1842). Проходная повесть А. И. Герцена снабдила Россию сакраментальным «Кто виноват?» (1846), а Чернышевского — «Что делать?» (1863). Целой серией вопросов одарил Толстой: Так что же нам делать? За что? Кто прав? Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят? Достоевский бился над «Вера или безверие?», но также сомневался, есть ли у русских личность (на счёт англичан и французов сомнений не возникает). Лесков интересовался, есть ли у русских совесть и воля. Шелгунов уже имеет адресат вопрошаний: «Интеллигенция — думать или делать?» (1889). Его «Очерки русской жизни», среди прочего, ставят вопрос, жизненно важный для умственной субстанции: есть ли у русских мышление? (опять же по контрасту с другими нациями: у немцев оно, несомненно, есть). Похоже, что русское вопросотворчество последовательно пробует западный общественно-политический и психологический тезаурус на лакмусовой бумаге национального самоопределения. Дойдя до нижнего предела мыслительной экзистенции и не получив ответа о возможности *cogito* в российских цветах, оно возвращается в уже очерченный круг. Начинаются повторы. Вокруг канонической сердцевины по правилам всякой экзегезы наслаивается круг толкований. Возникает своя апологетика и своя патристика, своя золотая серия.

Авторам академических сборников по интеллигенции приходится предупреждать читателя, что говорить нового они, собственно, не будут, но разговор их имеет собственную ценность: моральную, культурную, политическую.

В этом трудно усомниться, однако коллизия для интеллигентоведения, которое существует всё-таки с исследовательскими целями, от этого не разрешается. Как спасательный круг появляются ментальность, феноменология. Слово «интеллигенция», объясняет Ю. С. Степанов, есть концепт, а концепт — «мельчайшая единица ментальности» (Степанов, 1999, с. 41). Правда, автор этого важного теоретического предложения почему-то ограничил его одной-единственной ссылкой, вынесенной, к тому же, в примечания. Возможно, он не хотел нарушать стилистику рассуждений об интеллигенции, балансирующих на грани исследования и публицистики. Понятие ментальности, безусловно, полезно. Однако сейчас для нашей мейнстримовской гуманитаристики ментальность такой же концепт, как интеллигенция. Западные эпистемологи уже довольно давно стали замечать в любимой теме западной культур-истории 1970–80-х годов (и российской 1990-х) смешение предмета и спо-

соба изложения, т. е. скорее речь, чем классический научный анализ (Lloyd, 1990; Рикёр, 2004). На взгляд дискурс-аналитиков, никакого порока в этом нет. Однако надежда преобразовать рассуждения об интеллигенции в привычную исследовательскую процедуру рассеивается как мираж. Так же и попытка отнести синкретическую нерасчленённость интеллигентского дискурса по ведомству феноменологии добавляет только новое слово. Можно соглашаться или не соглашаться с утверждением, что «для понимания феноменологии русской интеллигенции важно и то, что её глубинная сущность, равно как и разнообразные поверхностные проявления, получившие систематическое (теоретическое и публицистическое) осмысление и объяснение сравнительно недавно (главным образом в конце XIX — начале XX в.), неразрывно связаны со всей тысячелетней историей русской культуры и имманентны ей» (Кондаков, 1999, с. 65), но к феноменологическому методу это всё равно не имеет отношения, т. к. он (феноменологический метод), как известно, отрицает различие между сущностью и явлением, имманентным и трансцендентным.

Автор этой статьи с уважением относится к национально-интеллигентскому вопроснику, однако он считает, что научная статья не место для исповеди или проповеди. В то же время я думаю, что от «просто посчитать» или просто описать будет мало пользы. Гуманитарная научность — не точка на континууме суждений, но движение в них. Сегодня замечание Ю. М. Лотмана о России как литературном эксперименте огромных размеров может восприниматься с долей профессиональной озабоченности: закончился ли эксперимент *in vivo* и настало ли время для исследований *in vitro*. Похоже, еще нет. Однако замкнутый круг «вечных вопросов», циркуляция канонических имён и тестов — это род устойчивости, которой нет ещё в историческом бытии страны, это данность, которая вряд ли исчезнет и рассыплется «в сказочно краткий миг». Отсюда позволительно переходить к работе сугубо гуманитарного свойства: составлять корпус текстов, производить его внешнюю и внутреннюю критику, классифицировать, интерпретировать. К источниковедческой атрибуции документов можно добавлять и генерализации насчёт их коллективного автора — интеллигенции, и насчёт дискурсивного конструирования, и насчёт общественно-исторического контекста. А взамен сквозного прохода по всем эпохам отечественной истории лучше придерживаться определённого времени и места, в котором данный культурно-дискурсивный массив возник и циркулирует. «Вечным вопросам» России, как они сформулированы в интеллигентском катехизисе, около 150 лет. Герцен и Белинский без труда поняли бы Сахарова и Солженицына. В журнале Некрасова и Салтыкова-Щедрина нашлось бы место Зиновьеву и Войновичу. Вот Илариону или Нестору едва ли: иной язык, другие жанры, другие вопросы. Присущий интеллигенции синкретизм идеи и речи побуждает очерчивать круг исследуемого не по идеологическому или моральному сродству с ним, а по тематическому, жанровому, лексическому, стилистическому единству материала.

Литературно-риторический корпус интеллигентских вопросов и дает такое единство. В нашем распоряжении набор вопросов, которые располагаются дихотомическими парами: физический труд — умственный труд, профессионализм — общественное служение, религиозность — атеизм, мораль — прагматизм, власть — оппозиция, индивидуализм — коллективизм, познание приро-

ды – общественное познание, собственное – заимствованное. Можно выстроить и древо определений, попытаться установить его вершину. Но при том, что в саду ветвящихся дорожек Я может выбирать разные направления, оно неизменно возвращается к себе, к своей дилемме. Cogito в России никогда не довольствуется тем, что оно есть, ему надо быть социальным и коллективным субъектом. В то же время уступить прерогативу своего определения оно не хочет никому.

Литература

- Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967.
- Кондаков И. В. К феноменологии русской интеллигенции // Русская интеллигенция. История и судьба. М., 1999.
- Левада Ю. Интеллигенция // Опыт словаря нового мышления. М., 1989.
- Леонтович В. В. История либерализма в России (1762–1914). Париж, 1980.
- Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 1. СПб., 2000.
- Михайловский М. Литературная критика и воспоминания. М., 1995.
- Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004.
- Степанов Ю. С. «Жрец» нарекись и знаменуйся «Жертва» (к понятию «интеллигенция» в истории российского менталитета // Русская интеллигенция. История и судьба. М., 1999.
- Чехов А. П. Собрание сочинений в двенадцати томах. М., 1960–64.
- Lloyd G. E. R. Demystifying Mentalites. Cambridge, 1990.